

Советское как детское: опыт двора

Юлия Чернявская

Профессор, факультет культурологии и социокультурной деятельности,
Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ).
Адрес: 220007, Минск, ул. Рабкоровская, 17. E-mail: yvch@of.by.

Ключевые слова: Советский Союз; идеология;
повседневные социальные конвенции; социокультурный
ландшафт советского двора; детские игры и считалки;
война; образ врага.

Государство как результат высших указаний и низовых привычек — это консенсус явного и неявного, личного и общего, внутреннего и внешнего, новаций и традиции. Советская власть считала одной из главных своих целей создание нового человека: на это и был направлен процесс воспитания советского ребенка, происходящий не только на уровне прямых требований и запретов, но и на контекстуальном уровне повседневности. Статья основывается на концепции «центр — периферия», на том, каким образом они, а также бытие СССР и мира в целом осваиваются детской повседневностью. Анализ базируется на детском фольклоре (игры, считалки и т. д.).

Категория детства — одна из констант советского габитуса, придававшая устойчивость обществу. В статье прослеживаются игровые пути, которыми ребенок усваивал и адап-

тировал советские и досоветские вошедшие в обиход практики, события истории и советскую идеологию в целом. Анализ практик показывает, что ребенок усваивает идеологию путем не только официального, но также неофициального дискурса. Детский дискурс объединяет сказку, шутку, пропаганду и советскую реальность. В сознании ребенка все они подтверждают друг друга. Потому мир советского ребенка есть оптимистический мир. Основные детские модели принадлежности к советскому целому, которые вырабатывались в игровом пространстве двора, таковы: адаптация общественных интересов как к себе, так и к колебаниям времени, течений, моды; обретение безопасности путем риторики всеислия; жертва собственным благом ради утверждения высшего, гармоничного миропорядка.

- Сынок, почему ты не спишь? Почему плачешь?
— Я боюсь... Нам сегодня в садике рассказывали, что Владимир Ильич Ленин умер, но он живой. И очень любит маленьких детей!

Анекдот

Советский Союз как страна детства

СОВЕТСКАЯ власть, как и Владимир Ильич Ленин из анекдота, очень любила детей. И дети отвечали ей взаимностью. Не только потому, что дети склонны верить мифам и заклинаниям, а советская культура была насквозь заклинательной. Но и потому, что в самом СССР через стальные пластины бытия и тусклые атрибуты быта явственно проступало детское начало. Именно метафорическое состояние непрекращающегося «детства» (упрощенность и лучезарность) укреплялось в человеке как эксплицитно (снаружи и «сверху»), так и имплицитно (внутренне и «снизу»).

Детство в Союзе культивировалось и как лучшая пора в жизни человека, и как особое состояние сознания, в котором он по возможности должен пребывать до самой смерти. Часто говорится о том, что советский человек был неразличимым винтиком в государственной машине. Но винтикообразность — это свойство в первую очередь детского коллектива.

Если весь советский опыт представить в виде романа, это будет роман воспитания. За советские годы изменилось множество партийных установок, в целостности оставалась лишь одна святыня — *формирование нового типа человека*. Это повлекло за собой логичное в своей простоте решение: превратить взрослых в детей, чтобы пересоздать их мышление — новое мышление нового человека... Поскольку содержание этой абстракции постоянно (хотя и неуловимо) менялось, советский человек никогда не приближался в достаточной мере к востребованному образу. Мету и характер соответствия социальным запросам каждый определял сам. К счастью, конкретных указаний по этому поводу сверху не поступало.

Средства воспитания востребованного человеческого типажа известны: кнут и пряник. «Кнут» — наказание. В роли «пряника»

выступали привилегии, чаще нематериальные: упоминание фамилии в речи начальника, грамоты, устные и письменные благодарности. Страна Советов была страной слов.

Респондент (мужчина, 1972 г. р., экономист):

Я получал благодарности — с первого по пятый класс, а брат — грамоты. Это был, ну, комплекс неполноценности, что у меня только благодарность, а у него — грамота. Хотя та же бумажка, если по сути¹.

Наиболее яркие примеры инфантилизации населения в первые годы советской власти — борьба с неграмотностью² и коллективизация. Здесь мы не говорим о целях — благих или чудовищных, а лишь о средствах «одетинивания» и его результатах. Вряд ли крестьяне (которые на тот момент составляли более 80% населения страны) бросили бы хозяйство и ринулись за школьные парты, если бы не суровые санкции за неисполнение приказа, введенные ленинским декретом.

Самым жестоким примером «одетинивания» была коллективизация. Несмотря на разницу уровней одетинивания, структурное сходство «налицо», и это лицо бесправия. Ведь именно детство лишено собственности; именно детей насильно сгоняют в стаи (группы, классы, отряды); именно ребенку указывают, что, когда и сколько он должен сделать; именно ребенка «пропесочивают» взрослые дяди и тети... Это у ребенка по непонятным взрослым соображениям могут отнять все, что ему принадлежит. И наконец, именно дети не имеют официального фиксированного статуса. В свете этого примечательно, что до 1974 года колхозникам не выдавали паспортов³. Как и все приказы власти, этот преодолелся путем исподволь выработанных народом социальных конвенций: блатом и взяткой.

1. Здесь и далее в статье приводятся фрагменты интервью с участниками опроса граждан Республики Беларусь, который автор проводит в Минске с 2013 года для готовящейся книги «Советская Атлантида». На момент написания статьи было опрошено 250 человек.
2. Параграф 8 декрета «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», подписанного Лениным 26 декабря 1919 года, предупреждал: «Уклоняющиеся от установленных настоящим декретом повинностей... привлекаются к уголовной ответственности».
3. Для сравнения: паспортизация городских жителей началась в 1932 году. Правда, паспорта они получали лишь внутренние, для поездок в пределах СССР.

Респондент (мужчина, 1950 г. р., онколог, член-корр. АН):
Да какой институт, смешно, у меня и паспорта не было. Год 1966-й, вы хоть имеете представление?.. Председатель сельсовета любил «это дело», я его подпоил и по пьяной лавочке выпросил справку, чтобы пустили хоть в медучилище в райцентре. А из училища в институт было просто, особенно с красным дипломом.

Респондент (женщина, 1946 г. р., уборщица):
У папки блат был на районе, кум. Он куму привез поросю, вот мне и сделали паспорт. В шестьдесят четвертом.

Коллективизация и всеобщее обучение грамоте — лишь два наиболее ярких приема выковывания детства в качестве структурного элемента советского мышления; в реальности их было значительно больше. Они пронизывали жизнь человека насквозь. Результат — неистребимость детского в советском человеке — во многом был достигнут. С толикой риска можно предположить, что те качества, ожидания, воззрения, которые иностранцы не только в XIX, но и в XX веке называли «загадочной славянской душой», — это взгляды, надежды и свойства ребенка.

Пожалуй, основная способность ребенка — дар доверчивости, который сродни религиозному «мужеству доверия» (Пауль Тиллих). Верили ли советские люди в возможность «рая на земле»? Скорее, в то, что если и можно соорудить справедливое общество, то оно будет создано именно здесь и именно их усилиями. И энтузиазм покорителей целины, и уверенность в том, что жизнь возможно «прожить так, чтобы не было мучительно больно»⁴, и надежда на скорое и окончательное искоренение «родимых пятен» — все это симптомы детства. Потому было бы не только несправедливо, но и наивно считать, что советская «детскость» заключалась лишь в ожидании коммунизма, который принесет на блюде государство-родитель. Словом, речь не столько о патернализме, сколько об особой советской религиозности. И случайно ли истинную веру, веру без терзаний и рационализации называют «детской»?

Государство — лишь один из объектов веры советского человека. Когда доверие к нему стало таять, оставались другие: «священная война», символические имена и знаковые места. Каж-

4. В позднебрежневский период афоризм Николая Островского был переиначен путем смены одной лишь буквы: «Жизнь надо прожить там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

дое из них «проигрывалось» детьми, апробировалось ими в игре и усваивалось намертво: игры в Мересьева, Корчагина, Гагарина, в Сталинград выковывали пусть не новый, но особый тип человека... По крайней мере ребенка.

В результате в его сознании прорастал образ не столько государства, сколько Родины, совпадающей с государством «по краям», но подразумевающей более глубокое и потайное содержание. То, что неясно многим сегодняшним исследователям-прагматикам, было внутренне понятно советским детям. Герои книг и кино отдавали жизнь не за фактическую державу, а за метафизическую Родину, то есть за смыслы — как те, что проповедовались с трибун, так и те, что государство — при всей своей кажущейся всевластности — не захотело или не сумело искоренить. Словом, речь о преемственности, нестройной, нелогичной, колеблющейся, ибо государство существует на грани практик, декларируемых сверху, и подспудных, возникших снизу — до и вне его. Государство как результат высших указаний и низовых привычек — это консенсус явного и неявного, личного и общего, внутреннего и внешнего, новаций и традиции.

Остановимся на последней. Наше убеждение, что ребенок более открыт новому, чем взрослый, соответствует истине лишь отчасти. Настоящая традиция живет не столько в душах пенсионеров, сколько в душах детей. Ребенок — консерватор. Он ценит законы жизни, регулярный круговорот событий (отступления от него радостны, но лишь как отступления).

Детство, непоколебимое в своих основах, — одна из констант советского габитуса, придававшая устойчивость обществу⁵. Габитус, по Пьеру Бурдьё, есть схема одновременно и воспроизводимая, и воспроизводящая. Устойчивость детского габитуса в СССР основывалась и на преднамеренности, и на случайности. Преднамеренность была связана с герметичной закрытостью от «тлетворных влияний Запада», а также с идеей одетинивания общества. Компонент случайности привносился несколькими факторами. Первый — подспудные практики, проявляющиеся в семейном воспитании, в более или менее классическом образовании⁶, в дворовых играх, в литературоцентричном характере культуры и т. д.

5. Имеется в виду период, наступивший после начала 1930-х годов, когда были резко свернуты все революционные педагогические эксперименты.

6. Советская школа начиная с 1930-х годов представляла собой упрощенный гибрид дореволюционной гимназии и реального училища.

Тем самым повседневность воспроизводила не только советскость, но и досоветскость и даже «несоветскость».

Мифологическое сознание (как и сознание в целом) формируется за счет не столько требований, лозунгов и указов, сколько их адаптации к сложившемуся культурному габитусу. Не рупором на площади или нотацией учительницы, а квартирой, классной «камчаткой», двором. Мы будем говорить о феномене двора, о том малом пространстве, где дети проигрывали взрослые модели мироустройства и попутно, сами не замечая того, создавали и воспроизводили микроидеологию.

Советский двор: между раем и коммуналкой

«Рай, замаскированный под двор», — некогда писал Булат Окуджава. Имелся в виду рай свободы — рай дозволенности недозволенного по умолчанию. Все неофициальные инициации советского ребенка происходили во дворе: именно там дети узнавали тайны деторождения, первые обценные выражения и ужасное слово «еврей».

Классический советский двор — феномен своеобразный. Если американские дети играли в собственном дворике, приглашая детей из соседних домов, если европейские больше общались по домам или гуляли в парках, то застройка «сталинского» двора (дома буквой «Г» или «П», арки, создающие отгороженное от города, но при этом общее межквартирное пространство) диктовала особый стиль взаимоотношений и — шире — стиль детства. Подобие западных муниципальных районов с их многоэтажной застройкой в СССР появилось лишь в 1970-е годы и получило название «микрорайон». Это было уже кардинально иное освоение городского ландшафта: открытые пространства между домами вызвали скорее к созданию ватаги, чем дворовой общины. Классический же двор давал необходимое ощущение укромного, олицетворяя грань частного/общественного, — не так жестко, не столь насильственно и не в тех масштабах, как коммуналка. Потому, в отличие от «параноидов жилья» (выражение Ильи Утехина), параноидов двора не существовало. Если сравнивать с общиной коммуналку неправомерно, то двор вполне «общинен». В коммунальной кухне — безвыходное постоянство общежития, во дворе — его дискретность, а значит, присутствует определенная мера добровольности. Из двора можно было вернуться домой. Из двора можно было выйти наружу. Это воплощало грань отношений община/общество. Община — двор, общество — город.

Само словосочетание «во двор» резко отличалось от словосочетания «на улицу»: улица была чем-то внешним, куда выходили, двор — внутренним, куда возвращались.

Укромность, «свойскость» советского двора 1960–1970-х годов пробуждала в людях желание заботиться о нем. Можно было сажать мальвы вдоль забора, зная, что никто из соседей на них не покусится. Можно было разводить голубей. Можно было чинить горку и заливать каток — для «своих»: таковыми считались все дети двора, знакомые соседям поименно. Сейчас часто говорят о роли управдома и домового комитета, «тоталитарной рукою» державших городские дворы. Но поколение, рожденное в 1960–1970-х годах, знало управдома лишь по фильму «Бриллиантовая рука». Когда советские люди начали растянувшийся на два десятилетия исход в частную жизнь, фигура управдома истаяла. На апрельские субботники семьи выходили без понукания, единственно потому, что воспринимали двор как собственное пространство. В этом сказывались и рудименты общинного мировидения, и память о военном братстве соседей, и сохранившийся отблеск шестидесятничества, когда вся страна воспринималась своей и «всем до всего было дело».

Играло свою роль и то, что в «сталинских дворах» жили более «давние» горожане. Такие дворы преобладали в центре города. Отсюда большее количество интеллигенции, учеников престижных школ, студентов. Вследствие всего этого классический советский двор воспринимался как зона безопасности. Поэтому детей выпускали во двор сызмальства: четырехлетки могли самостоятельно копаться в песочнице, а если в игре не хватало участников, их даже принимали в команду старшие.

Если «сталинский двор» тяготел к дому, то сквозное пространство между многоэтажными сотами — к улице. Оно было открытым, небезопасным, неуютным и неинтересным. «Новые городские» жильцы, расселяющиеся по микрорайонам, воспринимали свои проходные дворы как аналог края деревни, околицы. Отсюда — сельские обычаи, например шумные свадьбы с музыкальным ансамблем на козырьке подъезда и глумливым тамадой. Именно здесь вырастали и «почковались» небезопасные ватаги подростков. В таких дворах можно было мусорить и плевать — не только детям, но и взрослым. Возможно, причиной стало то, что новые горожане в пору своего крестьянского детства и отрочества застали уже новую деревню — деревню без общины. Вследствие этого, казалось бы, парадоксальным образом именно в микрорайонах, где селились крестьяне, не так уж давно покинувшие дерев-

ни, роль репутации в глазах соседей (то есть квазиобщины) все чаще игнорировалась. Практика соседства обесценивалась и сохранялась только благодаря старикам и детям. Анклав «лавочки у подъезда» был закреплен за бабушками⁷, все остальное пространство — за детьми. Основной функцией двора для последних, разумеется, была игровая.

«Бояре», ставшие пионерами

Часть игр была общедетской: «войнушка», казаки-разбойники, штандер, вышибалы, «козел», «ручеек», «ножички», скакалки, «резинки», прятки и жмурки, «Али-Баба». Они были идеологически нейтральны, но могли стихийно советизироваться, а затем терять советский компонент либо сохранять его в латентном виде, менее явно.

Рассмотрим популярную игру в «Али-Бабу». Дети строились в две шеренги друг напротив друга, крепко брались за руки и попеременно, построчно выкрикивали текст зачина:

- Али-Баба!
- О чем, слуга?
- Пришей рукава!
- На чьи бока?
- Пятого-десятого (имя) нам сюда!

Поименованный кидался к противоположной шеренге и пытался собственным телом разрубить цепь сплетенных рук. Если ему это удавалось, счастливчик мог увести в свою команду «языка», если не удавалось — оставался в команде противника. Казалось бы, ничего специфически советского, напротив — экзотический компонент в тексте зачина. Однако в СССР существовала и иная версия «Али-Бабы». Правила оставались теми же. А вот текст был другим.

Респондент (мужчина, 1960 г. р., программист):

У нас во дворе кричали: «Вожатый, вожатый, отдай пионера!» Потом называли конкретное имя — кого отдать. Ни пионер, ни вожатый там был ни при чем. Да и не было никаких вожатых.

7. Впоследствии, в 1990-е годы, по мере вымирания бабушек, расцвета сериалов (во многом заменивших пожилым женщинам реальное общение), а также люмпенизации населения эти лавочки все чаще становились местом досуга для алкоголиков и ночевки для бездомных.

Еще интереснее, что в других советских дворах существовала и третья версия «Али-Бабы». Где-то она называлась «Разрывные цепи», где-то — «Бояре». Это был, несомненно, первый вариант, без специфически советского: в «Бояре» играли еще в дореволюционной России, и в игру вошли многие элементы русского свадебного обряда:

- Бояре, а мы к вам пришли! Дорогие, а мы к вам пришли!
- Бояре, а зачем пришли? Дорогие, а зачем пришли?
- Бояре, нам невеста нужна. Дорогие, нам невеста нужна.
- Бояре, а какая вам мила? Дорогие, а какая вам мила?
- Бояре, нам вот эта мила. Дорогие, нам вот эта мила.
- Бояре, она дурочка у нас. Дорогие, она дурочка у нас.
- Бояре, а мы плеточкой ее. Дорогие, а мы плеточкой ее... (и т. д.)

Можно предположить, что «осовечивание» игры произошло в годы первых пионерских лагерей, когда и вожатый, и пионер были еще персонажами знаковыми. Тогда же, вероятно, появилась считалка «Ниточка-иглочка, выйди, комсомолочка». Вряд ли смена зачина и названия происходила насильственно. Скорее, сработали факторы новизны и моды. Сыграло роль и то, что мотив конфликта в игре остался неизменным — отвоевывание «человеческого ресурса» у противника. Изменилась лишь форма: преобразился и укоротился текст, редуцировались магические выходы. Словом, игра стала «революционно-целесообразной», под стать времени.

Важно, что и шесть десятилетий спустя и «вожатый», и «пионер», и «комсомолочка» по-прежнему обладали позитивным семантическим зарядом несмотря на то, что социальные роли и вожатого⁸, и пионера амортизировались. В пространстве дворовой игры фигуры становились все более размытыми: вожатого не было во все; пионер выбирался не «идеологически выдержанный», а просто ловкий и крепкий; «комсомолочкой» мог стать мальчик (как ранее — «невестой» в «Боярах»). Без сомнения, здесь мы имеем дело с латентным усвоением идеологии, которая заменила предшествующую, не входя с ней в противоречия. Вопрос лишь в том, какие коннотации усваивались, а какие отскакивали от детского сознания.

8. Если пионервожатый в 1920-х годах воспринимался как старший товарищ, жил в палатке рядом с детьми, его называли на «ты» и его роль была подобна, скорее, роли старшего брата, то в пионерлагерях 1970-х годов к вожатому обращались по имени и отчеству, жил он отдельно, а его функция была организационно-административной. Тем более что вожатый подчинялся еще более значимой фигуре — воспитателю (педагогу). В 1970-е годы на пионерский отряд полагался один вожатый и один педагог.

Почему «пионер» в игре был положительным образом, а фраза «Ну, он такой, знаешь, весь из себя пионер» уже в конце 1970-х годов звучала насмешливо? Можно предположить, что в игре пионер воспринимался в качестве символической личности, воображаемого кинообраза, на который хотели походить все, но не походил никто.

Но откуда же взялся экзотический Али-Баба? На первый взгляд, это очевидно: исток новой версии игры «Али-Бабы» — это сказки «тысячи и одной ночи», изданные в СССР дважды⁹. Однако несмотря на то, что последнее издание поступило в продажу в 1959–1960 годах, вряд ли его давали читать детям — хотя бы из-за эротических мотивов, пронизывающих текст. Тем более что восьмитомник был в жестком дефиците. Скорее, приход «сказок 1001 ночи» в повседневность советского двора осуществился посредством экранизаций, адаптированных к детско-советскому сознанию. Первая из них — кукольный фильм «Али-Баба» 1959 года¹⁰. В те годы восточная (как и в целом «иностранная») тематика приходит к юному зрителю не случайно. В обращении к ней проявилось несколько тенденций постсталинской культуры как таковой:

- Желание дать собственный — и лучший — ответ индийскому кино (триумфальному «Бродяге») и голливудским ориенталистским фильмам («Багдадский вор»)¹¹.
- «Оттепельный» романтический порыв, заключающийся как в физическом, так и в метафизическом освоении места. В отличие от европейского романтического эскапизма («чайлд-гарольдовский» побег на Восток), советский романтизм строился на идее победы социального добра над социальным злом. Подразумевалось, что социальная несправедливость искоренена лишь «в одной, отдельно взятой стране». Впрочем, остальные тоже могут построить у себя совершенное общество, свергнув баев и капиталистов, то есть прикнуд к идее «мировой революции».

9. Книга тысячи и одной ночи: В 8 т. / Предисл. М. Горького, М. А. Салье, под ред. И. Ю. Крачковского. М.; Л.: Academia, 1929–1939; 2-е изд. М.: Гослитиздат, 1958–1960.

10. Вторая, даже более удачная — игровая лента «Волшебная лампа Аладдина» (1966).

11. «Багдадский вор» был подарен Советскому Союзу за его заслуги в борьбе с нацизмом и время от времени шел в кино даже в начале 1960-х годов. Но даже те, кто не видел «Багдадского вора», прекрасно знали самодельный стишок, который кончался так: «Пока смотрел „Багдадский вор“, так русский вор штаны упер».

— Преодоление сталинского герметизма: заграничное — не обязательно классово чуждое¹². Есть «наш» Чиполлино, а есть «их» Синьор Помидор; есть бедный и честный Али-Баба, а есть жадный богач и разбойники.

Обратим внимание на неявную параллель с «оттепельным» кино, адресованным взрослым, в частности с историко-революционными фильмами, в которых сюжет строится вокруг советизации Востока¹³. Тамошние баи и басмачи изрядно напоминают богача и разбойников из «Али-Бабы». Прямая советизация старинной игры «вожатско-пионерским» путем заместилась «оттепельной» советизацией — с перспективой уже не кровавой, а бескровной мировой революции путем чиполлинизации и алибабизма.

Считалки: образ врага

Историческо-идеологический контекст проявляется не только в играх, но и в атрибутике. Это выражено даже в таком «потустороннем», казалось бы, компоненте игры, как считалка. В отличие от строево-маршевой речевки, бессмысленно-советской, большая часть считалок строилась на бессмыслице вневременной, магически-заклинательной: «эне-бене-ряба...», «эники-беники», «ази, двази, призи, зизи, пятом, мятом, шума, рума, дуба, крест».

Бессмыслица остается частью считалки и дальше, однако и в ней можно заметить сколы стихийного осовечивания. Впрочем, возможна и обратная динамика: идеологический компонент уходит, заменяясь мотивами иных сегментов символического универсума ребенка. Так, например, произошло с считалкой «Вышел немец из тумана»: из реального гитлеровца, вынимающего финку, чтобы зарезать советского солдата, он превращается в фольклорный месяц, символизирующий страшное «время ночь». Месяцу все равно, кого резать, поскольку ночь для ребенка страшна как таковая¹⁴.

12. Напомню, незадолго до этого в СССР прошел первый международный фестиваль молодежи и студентов.

13. Самые яркие примеры — «Белое солнце пустыни» и «Офицеры».

14. Этот вариант считалки структурно напоминает детскую страшилку — с атрибутикой тьмы, с приходом которой родители превращаются в убийц. Впрочем, существует и иная интерпретация считалки: в соответствии с ней Месяц — имя собственное. Якобы так звали командира одного из украинских бандформирований в 1940-е годы.

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе водить.
А на следующую ночь
Он зарезал свою дочь¹⁵.

И наконец, в 1980-е годы месяц превращается в милого норштейновского ежика. В духе мультфильма меняется и финал истории:

Вышел ежик из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Вынул камешки и мел,
Улыбнулся, как сумел,
Подарил мне все, что вынул,
И опять в тумане сгинул.

Образ врага заменился образом друга: это один из способов преодолеть страх перед ним. Другой, более распространенный способ амортизации страха — травестирирование врага.

Это было в воскресенье,
Двадцать пятого числа.
Немцы прыгали с балкона
Со второго этажа.
Первый прыгнул неудачно.
Второй голову сломал.
Третий прыгнул на Марусю
И ее поцеловал.
А Маруся не стерпела,
Кочергой его огрела.
Он летел, летел, летел
И в помойку залетел.
А в помойке жил Борис,
Председатель дохлых крыс.
А жена его Лариса,
Замечательная крыса,
Родила ему сынка.
А Борис кричит: «Ура!
Позовите доктора!»
Доктор скачет на бутылке,

15. *Троицкая Т., Петухова О.* Современные считалки // Фольклор и пост-фольклор: структура, типология, семиотика. URL: <http://www.ruthenia.ru/folklore/troizkaya2.htm>.

А мы немца по затылку.
Немец думал, что война,
Сделал пушку из говна,
Зарядил в нее котлету.
Раз, два, три — и пушки нету.

Пусть нас не смущает смещение даты начала войны: в считалке ритм важнее исторической точности¹⁶. Ключевое здесь слово «воскресенье»: и в кино, и в книгах, и в семейных преданиях особо подчеркивалось, что война началась именно в воскресенье, когда семьи строили планы отдыха на единственный выходной день. Так, жители Минска рассказывали детям и внукам о том, что именно на 22 июня было назначено долгожданное открытие Комсомольского озера, водоема, который два с лишним года горожане сооружали вручную.

Страшный контраст «воскресенья» и войны преодолевается устойчивым травестийным образом немца (так, дразнилка «Немец-перец-колбаса, кислая капуста» продержалась от 1940-х годов до нынешнего времени). Заметим: немцы прыгают не с пятого или шестого, а лишь со второго этажа, словом, летают невысоко — и с известным результатом. Они смешны и неудачливы, «наши» (включая Марусю) расправляются с ними «на раз». И пушку немец может производить лишь известно из чего¹⁷. В этом сказывается не только детское, но и в целом все более упрощенное представление о минувшей войне — войне, в которой мы всегда победим и к которой начинаем готовиться уже в детстве доступными нам средствами.

Респондент (мужчина, 1970 г. р., журналист):

Игры были в войну. Любимыми игрушками были автоматы и пистолеты. Солдат лепили из пластилина, потому что даже страшные оловянные были в дефиците. Или дорогие? Но, в общем, у нас их было мало. Пластилин, чтобы растаял, клали на батарею. Потом забывали, он плавился и стекал вниз. Получали, но снова клали.

16. Другой вариант считалки начинается так: «На немецком стадионе шла немецкая война». Тут уже есть прямое, адресное указание.
17. «Говно» — самое табуированное и самое позорное слово в «сталинских» дворах 1960–1970-х годов. Матерная лексика стала приходить во дворы позже — из районов новостроек, где игровое пространство граничило с магазинами, около которых традиционно собирались подростки и алкоголики. Тем более что подростки были старшими братьями, а алкоголики — отцами.

Можно применить эту метафору: образ врага в детском фольклоре тоже «плавился и стекал вниз». Именно такой — резко стереотипизированный, утрированный — образ был востребован сознанием детей, и не только детей: «Матка, курка, яйца». Немец, как говорящий немой, как уморительный убийца, как тупой минотавр, просто обязан быть побежденным.

В считалке одна мифология смеется над другой: по-крестьянски здравый Иван-дурак — над псевдоберсерком. Вспомним мемуары Юрия Лотмана:

Отряд немецких мотоциклистов, несущийся прямо на нас, вырытые окопы противника, может быть, бессознательно воспроизводил поведение берсерков: мотоциклы были буквально обвешаны (на каждом сидело четыре человека) автоматчиками, абсолютно голыми, но в кожаных сапогах, широкие голенища которых были забиты автоматными магазинами. Автоматчики были пьяны и неслись прямо на противника, громко крича и непрерывно стреляя в воздух длинными очередями¹⁸.

Разумеется, советские дети 1960–1970-х годов знать этого не могли, но образ весельчака-немца, который переходит от хохота к пытке, а от благодушия — к казни, советские фильмы и книги поставляли бесперебойно.

Добавлю: на тот момент травма войны ни в малейшей мере не была изжита обществом как вследствие страшного опыта, так и по причине лакировки войны в массовой культуре. Ребенок рос в пространстве умолчаний при кажущемся изобилии образов войны, складывающихся в медиа и собственной семье. В семейных рассказах в слово «война» вкладывалось множественное содержание, но, как правило, оно оставалось недосказанным: детей берегли, да и побаивались их длинных языков. Однако именно эта недосказанность давала простор для множества фантазий, ночных страхов и ощущения собственной неполноценности.

Респондент (мужчина, 1976 г. р., преподаватель вуза):

Я все детство думал... да и сейчас иногда думаю, что я не вполне как бы состоятелен в этом смысле. Если бы мне иголки загноили под ногти, я бы предал Родину...

18. Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. СПб.: Искусство-СПб, 2000. С. 47.

Респондент (женщина, 1965 г. р., искусствовед):

Я ночами думала, как это они терпели. Во имя Родины. Родина — это что-то большое, странное. Абстрактное. Но самое дорогое. Тогда я начинала сравнивать: а вот если бы мне велели выдать маму... Или папу... Самых дорогих. Я бы выдержала? Очень боялась, что не выдержала бы.

Неизжитая потайная травма нуждалась в преодолении. Лакированная картинка войны, сформировавшаяся к 1970-м годам, средством лечения стать не могла: она была патетична, пафосна и фальшива. Дети создали свой (фольклорный, стихийный, захватский) вариант обесценивания врага со всей атрибутикой смешного и позорного — с помойкой и пушкой из фекалий. Однако содержание этой считалки глубже: в ней прослеживается более древний — и тоже смеховой — компонент. И если первый заключается в снижении образа реального недавнего врага, то второй — в травестизации немца как чужака. Немец — не только «фашист», он — давний чужак, иноземец¹⁹, время от времени попадающийся «на своем поле». Наиболее близкий к нему образ — черт, перешедший из фольклора в художественную литературу, а оттуда в программу внеклассного чтения и мультфильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»:

Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиной, кругленьким пяточком... Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт...²⁰

Фольклорный черт — немного страшное, но в основном смешное существо, самый малый чин в подземной иерархии, медирующий пространство земли и ада (как чужак на своем поле медирует пространство культуры и антикультуры). Черт — вечный не-

19. Приведу пример детской этимологии гораздо более позднего времени — начала 1990-х годов. Четырехлетняя девочка, обращаясь к немецкому юноше-волонтеру: «Мартин, ты чуженец?»

20. Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством // Вечера на хуторе близ Диканьки. СПб.: Азбука-классика, 2008.

удачник ада, с завидным постоянством побеждаемый крестьянином, героем баек и сказок, и, конечно же, ребенком.

Тем самым в неудачливости немца, героя считалок, слились и образ врага (неполноценного перед мы-образом), и образ иноземца, и фольклорный черт — невезучий труженик подземья. Нечеловек, недочеловек и античеловек. Нечеловеческая функция немца будет усилена в игре в «войнушку», а также в героях — Зою Космодемьянскую, Марата Казея, Алексея Мересьева и других героев войны. Базу для репрезентации игровых злодеяний врагов советскому школьнику давали книги рассказов «Пионеры-герои» и «Никто не забыт», описывавшие пытки и казни его сверстников.

Респондент (женщина, 1953 г. р., научный работник):

Ну, играли в Зою Космодемьянскую, в пионеров-героев. У нас даже был общепризнанный, как бы профессиональный Марат Казей — Петька Горелов.

Респондент (мужчина, 1970 г. р., журналист):

Мы играли в Мересьева: ползали по двору на животе и жевали всякую дрянь.

Респондент (женщина, 1971 г. р., парикмахер):

Я любила быть Марите Мельникайте. Кто она — я и сейчас не знаю, но так называлась улица, и имя заграничное.

Важный момент: немцем (как и белым) в игре быть никто не хотел. И даже после показа «Семнадцати мгновений весны» (1973) открытие того, что и у фашистов могли быть обычные человеческие лица, стало уделом взрослых, но не детей: детская категоризация мира значительно более бинаризирована. Кроме того, риторика СССР актуализировала дуальные схемы в общественном сознании, создавая постоянное давление на точки «мы — они», «добро — зло», «наш Космос — их Хаос», «немец (белый) — русский (красный)». Потому детский габитус воспроизводился в заданном и понятном «черно-белом» ключе²¹.

Респондент (мужчина, 1965 г. р., журналист):

У нас во дворе считалось, что Штирлиц — красный, а Мюллер — белый.

21. К «Семнадцати мгновениям весны» вполне применим анализ волшебной сказки Владимира Проппа, а также анализ «бондианы», сделанный Умберто Эко.

Респондент (мужчина, 1968 г. р., временно безработный):
Играли в Штирлица. Противниками были не Германия и СССР,
а Штирлиц и Мюллер.

То, что немец летит именно в помойку, закономерно для ребенка 1970-х годов, выросшего в закрытом и безопасном «сталинском» дворе, а следовательно, не особо одаренного матерными познаниями. «Иди в помойку» — одно из самых страшных ругательств детсадовца и младшего школьника. Помойка — табуированное место двора, обладающее при этом дополнительным статусом новизны: до начала 1970-х годов контейнеров во дворах не было, и мусор забирала машина²². Как все новое и по самой сути своей грязное, помойка обростаёт зловещими коннотациями. Неотъемлемый атрибут помойки — крысы, в детском сознании приобретающие чудовищные размеры. Крыса тоже враг (популярны «страшилки» о том, как крысы выгрызают детям глаза, откусывают носы и душат младенцев хвостами), но враг иной, нежели, к примеру, нацист. Для городского ребенка крыса — медиатор оппозиции «природа — культура», это образ дикой природы, проникающей в мир повседневности и пытающийся исподволь его разрушить. Однако крысы — дохлые. Дохлая крыса не страшна, она противна и в чем-то смешна — так же, как немец, залетевший в помойку. Низводя немцев к крысам и представляя крыс дохлыми, считалка уравнивает и одновременно преодолевает сразу две оппозиции, будоражащие сознание ребенка: «свой — чужой» и «природа — культура». Однако в ряду персоналий считалки появляются и другие: «председатель дохлых крыс» Борис, его жена Лариса (тоже, надо думать, дохлая, однако родившая сынка) и, наконец, доктор, скачущий на бутылке. Что касается Ларисы и доктора, это тоже персонажи, табуированные в детском сознании: первая — в силу неприличия темы беременности и родов, второй — вследствие страха перед врачами и больницей. Что касается «председателя», то можно с осторожностью предположить, что в эпоху шестидесятничества этот казенный образ подвергся коррозии в общественном сознании: председатель — значит, бюрократ²³, персонаж, безусловно, карикатурный, особенно если учесть, над кем он председательствует. Добавлю: не было ни одно-

22. В некоторых городах этот обычай просуществовал дольше. Так, в некоторых районах Львова, например, мусорные машины приезжали еще в середине 1980-х годов.

23. Например, Огурцов в «Карнавальной ночи».

го председателя совета отряда, которого хоть раз не обозвали бы «председателем дохлых крыс».

Таким образом, эта считалка таит смысловой пучок, увязывающий страшное, отвратительное и запретное и отправляющий его в нечистое место — на помойку, детскую модель ада.

Однако в микромире двора существовали и другие формы освоения действительности — не только страшного, но и прекрасного; не только табуированного, но и тайного. Наиболее явно это выражалось в феномене секретиков.

Секретики и святость жертвы

Духи детства — сколы опыта не столько ребенка, сколько общности. Ребенок взаимодействует не только с мирами вещей, идей и людей, но и с неназванным, невидимым глазу миром коллективных представлений, осознанных лишь минимально, но обуславливающих восприятие вещей, людей, идей. В них-то и фиксируется негласный опыт общности — позитивный и негативный: например, попытки ее взаимодействия со смертью. Так, игра в жмурки («слепой кот») иллюстрирует взаимодействие не зрячего со слепым, а «мертвого» с «живым»: мертвый хватается живого. Отсюда реальное и сильное ощущение опасности. Он — кот, мы — мыши. Тот факт, что кот слеп, делает ситуацию еще тревожнее — по запаху найдет. И главное: поскольку игра — действие серьезное²⁴, то действует в ней не соседский мальчик с завязанными глазами, это оживший покойник использует его тело. Неведомое санкционирует ведомое.

Но тайна освящает не только страшное, но и прекрасное. Самой таинственной из советских игр была игра в секретики (секретки). Она отличалась от прочих тем, что была индивидуальной. Этим секретик напоминал дневник, который начинали вести спустя два-три года после того, как прекращали играть в секретики. Они выражали направленность на внутренний, одинокий мир, в то время как остальные игры предполагали моделирование мира внешнего и общего. За секретик не следовало ни призов, ни поощрений, ни временных дворовых статусов, ни дружеского расположения лидера.

24. Об этом пишут многие исследователи, начиная с Йохана Хейзинги, Ойгена Финка, Корнея Чуковского и заканчивая современными, например Константином Богдановым, Светланой Адоньевой и многими другими.

Респондент (мужчина, 1972 г. р., юрист):

Ух, я уже не помню подробностей. Девчонки что-то прятали под бутылочными стеклышками в земле. По-моему, это и называлось «секретики». Мы, кажется, только отлавливали их и грабили эти тайники. Как грабители — египетские пирамиды.

Респондент (мужчина, 1964 г. р., инженер):

Играли. Да и мы, мальчишки, тоже. Не очень часто, реже, чем девочки. Рыли ямку в земле, клали в нее что-то красивое... Ну, цветочки. Пуговички, может, какие-нибудь. Потом накрывали стеклышком и закапывали... Никак не отмечали, так запоминали.

Респондент (женщина, 1960 г. р., редактор):

Сперва надо было вырыть ямку. Потом на дно постелить «золотце» или «серебро»... фольга, да. Больше ценилось «золотце» от дорогих конфет, например «Ананасных». Да, забыла: надо было ее еще разгладить ногтем, чтоб не была жеваной. Потом на нее клали то, что покрасивее: фантики, цветочки, осколок зеркала, стекляшку... бусинки... бисер... были еще такие стеклянные... Сверху надо было чистым стеклышком закрыть и закопать. Да, разрывали и смотрели. Не часто, потому что, если часто, так могли увидеть ребята со двора.

Респондент (мужчина, 1959 г. р., экономист):

Шик был — монетку положить. Потому что монеток было мало — их жалели. Когда на одну копейку можно газировки попить, а на три с сиропом, а на пять на метро проехать — какой дурак положит? Но клали. Потому что так больше напоминало клад. Знаки оставлять было нельзя: могли догадаться. Я, например, рисовал карты секретиков.

Респондент (женщина, 1960 г. р., учитель):

Портились они быстро. Цветы вяли, песок насыпался... Картинки отсыревали. Но это было неважно. Что важно? Не знаю. Может, то, что это было для меня одной.

Эта игра, распространившаяся по всему Союзу, была столь загадочной и «несоветской», что привлекла интерес антропологов: о ней есть упоминания в «Общих местах» Светланы Бойм, глава в книге Марии Осориной «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», а также большая статья Светланы Адоньевой.

По Марии Осориной, секретики — первая попытка дизайнерского творчества детей, происходящая вне контроля взрослых, особая форма освоения пространства. Она предполагает создание круга избранных — задушевных друзей, которых мож-

но подпустить к собственной тайне²⁵. Кстати, именно эта функция — «секретного общества друзей и подруг» — является главной и для Светланы Бойм. Главной, но не единственной: создание секретиков понимается и как прообраз коллекционирования, «повседневной алхимии, придающей невзрачным и ненужным предметам какое-то магическое свойство»²⁶. Последнее уже ближе к секрету «секретиков». Ближе, но не точно: в секретики прятались вовсе не невзрачные и совсем не лишние вещи. То, что взрослому кажется некрасивым и ненужным, для ребенка часто составляет огромную ценность, стеклянные шарики например. Адоньева раскрывает интригу секретика как первые эксперименты со временем (что происходит с закопанными предметами через день, неделю, месяц?), с пространством (обживание земли и того, что под землей), а также приобщение к ценности, статусу и смерти: модель секретика сравнивается с моделью похорон. «Главным секретиком» страны автор называет ленинскую мумию в Мавзолее²⁷.

Можно возразить: похороны птички в коробке из-под обуви походят на зарывание секретика лишь по форме — не по сути и не по целям. Нам представляется, что если идея секретика и связана со смертью, то опосредованно, первым опытом жертвования, добровольной жертвы во имя незнаемого, безымянного, имплицитного. Словом, это о религиозном опыте. Не о вере в Бога — скорее, о матрице божественного, существующей на грани сознания и бессознательного.

Первый этап жертвования — освоение красоты того, что, возможно, просто валяется под ногами. Второй — приведение его в порядок, в терминах «заботы» (Мартин Хайдеггер). Третий — жертвование того, что стало тебе необходимым. В этом различие секретика (все-таки, как правило, девичьего) и мальчишечьего тайника. Тайник — для себя, секретик — для мироздания. Тайник утилитарен, секретик бесполезен. Тайник эстетически нем, секретик — средоточие эстетики. Секретик — символ готовности отдать любимое без надежды на его возвращение и тем более на приумножение, начало осознания непринадлежности мира человеку и, напротив, принадлежности человека миру.

25. Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. М.: Питер, 2008.

26. Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 188.

27. Адоньева С. Дух народа и другие духи. СПб.: Амфора, 2009. С. 105, 103.

Обобщая, можно сказать о трех детских моделях принадлежности к советскому целому, которые вырабатывались и примерялись уже в игровом пространстве двора:

- адаптация общественных интересов как к себе, так и к колебаниям времени, течений, моды (игра в «Али-Бабу»);
- обретение безопасности за счет риторики всеислия (считалка про немцев);
- жертва собственного блага ради утверждения высшего, гармоничного миропорядка (игра в секретники).

Разумеется, этих моделей было значительно больше. Но случайно ли эти три вкладываются в советское мышление взрослых практически без оговорок? Советское детство — мир гармонии, убогой, но непререкаемой. Ее создали для нас взрослые, которые и сами очень во многом были детьми.

Библиография

- Адоньева С. Дух народа и другие духи. СПб.: Амфора, 2009.
- Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
- Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством // Он же. Вечера на хуторе близ Диканьки. СПб.: Азбука-классика, 2008.
- Книга тысячи и одной ночи: В 8 т. / Предисл. М. Горького, М. А. Салье, под ред. И. Ю. Крачковского. М.; Л.: Academia, 1929–1939 (2-е изд.: М.: Гослитиздат, 1958–1960).
- Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. СПб.: Искусство-СПб, 2000.
- Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. М.: Питер, 2008.
- Троицкая Т., Петухова О. Современные считалки // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: <http://ruthenia.ru/folklore/troizkaya2.htm>.

THE SOVIET AS THE CHILDLIKE: THE CASE OF THE COURTYARD

YULIYA CHARNIAUSKAYA. Professor, Faculty of Culturology and Sociocultural Activity, yvch@of.by.
Belarusian State University of Culture and Arts (BSUCA), 7 Rabkrovskaya str., 220007 Minsk, Republic of Belarus.

Keywords: Soviet Union; ideology; everyday social conventions; socio-cultural landscape of the Soviet courtyard; children's games and rhymes; war; the enemy image.

Any state is a result of government regulations and grassroots habits. It is a consensus of the explicit and implicit, the personal and general, the internal and the external, innovation and tradition. The creation of the new man was one of the main objectives of the Soviet regime; this was the goal of the of the Soviet child's education. This process took place not only at the direct level of requirements and prohibitions, but also at the contextual level of everyday life. This paper is based on the "center-periphery" model. The author analyzes the ways these concepts — as well as the existence of the USSR and the world — are absorbed through the children's everyday life. The analysis is based on the children's folklore.

The category of childhood is one of the constants of the Soviet habitus that gave stability to the whole society. This paper follows the playful ways used by children to acquire and adopt pre-Soviet and Soviet everyday life practices, events of history and Soviet ideology. The analysis of these practices shows that the child learns by ideology. Children's discourse combines story, joke, propaganda and reality. For this reason, the world of the Soviet child is an optimistic world. The children's basic patterns of belonging to the Soviet integrity — produced in the outdoors game space — are as follows: adaptation of public interest to itself and to time fluctuations, currents of fashion; acquisition of security by using the rhetoric of omnipotence; sacrifice for a higher, harmonious world order.

DOI: 10.22394/0869-5377-2017-5-219-239

References

- Adon'eva S. *Dukh naroda i drugie dukhi* [Spirit of Nation and Other Spirits], Saint Petersburg, Amfora, 2009.
- Boym S. *Obshchie mesta. Mifologiya povsednevnoi zhizni* [Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia], Moscow, New Literary Observer, 2002.
- Gogol N. V. Noch' pered Rozhdestvom [Christmas Eve]. *Vechera na khutore bliz Dikan'ki* [Evenings on a Farm Near Dikanka], Saint Petersburg, Azbukaklassika, 2008.
- Kniga tysyachi i odnoi nochi: V 8 t.* [One Thousand and One Nights: In 8 vols] (introduction by M. Gorky and M. A. Sal'e, ed. I. Iu. Krachkovskii), Moscow, Leningrad, Academia, 1929–1939 (2nd ed.: Moscow, Гослитиздат, 1958–1960).
- Lotman Y. M. *Semiosfera: Kul'tura i vzryv* [Semiosphere: Culture and Explosion], Saint Petersburg, Iskusstvo-SPb, 2000.
- Osorina M. V. *Sekretnyi mir detei v prostranstve mira vzroslykh* [Secret World of Children in the Space of Adults' World], Moscow, Piter, 2008.
- Troitskaia T., Petukhova O. *Sovremennyye schitalki* [Contemporary Counting Rhymes]. *Fol'klor i postfol'klor: struktura, tipologiya, semiotika* [Folklore and Postfolklore: Structure, Typology, Semiotics]. Available at: <http://ruthenia.ru/folklore/troizkaya2.htm>.